П. А. Вяземский

Эстетика и литературная критика

Москва
«Книга по Требованию»

УДК 82.09
ББК 83.3
П11

П. А. Вяземский
П11 Эстетика и литературная критика / П. А. Вяземский – М.: Книга по Требованию, 2013. – 456 с.

ISBN 978-5-458-42261-1

ISBN 978-5-458-42261-1

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2013
© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2013

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первозданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.

Серия Книжный Ренессанс
www.samizday.ru/reprint

ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ П. А. ВЯЗЕМСКОГО

Князь Петр Андреевич Вяземский родился в 1792 году в Москве. За свою долгую, 86-летнюю жизнь он пережил несколько крутых «сломов» времени — таких состояний общества, когда кажется, что недавнее прошлое ушло безвозвратно, а настоящая история начинается только сейчас. Это историческое самоощущение воспринималось им позднее неизменно скептически — вероятно, именно потому, что первый опыт такого самоощущения был пережит им в юности всерьез и исчерпан вполне. Сложная и причудливая жизнь старой, «допотопной», по выражению самого Вяземского, Москвы, одним из средоточий которой был дом его отца, князя Андрея Ивановича, после московского пожара 1812 года уже никогда не смогла восстановиться в прежнем виде. Вяземский потерял мать в 1802 году, отца в 1807-м, старшую сестру в 1810-м. Но прошлое ушло, оставив богатые дары — дружбу и покровительство старого приятеля отца, Ю. А. Нелединского-Мелецкого (опекуна Вяземского), Карамзина, женившегося в 1804 году на побочной дочери князя Андрея Ивановича, Е. А. Колывановой, литераторов, появившихся в доме Вяземских с приходом Карамзина: Дмитриева, Жуковского, В. Л. Пушкина. Для Вяземского никогда не существовало проблемы *вхождения в литературу* — всю или почти всю русскую литературу он нашел в собственном доме, еще мальчиком, вернувшись в 1807 году из пансиона, — можно сказать, получил ее в наследство. Когда Вяземский позднее будет говорить о «домашнем круге литературы нашей», нельзя забывать о том, что для него это не метафора. Он уже никогда не сможет представить себе русскую литературу иначе; появление новых имен — от Пушкина до Гоголя — будет восприниматься им не как смена борющихся, вытесняющих друг друга литературных явлений, а как расширение и обогащение периферии того кружка, который заменил ему семью. Любое посягательство на эти центральные имена будет оцениваться Вяземским, в совсем не литературных и совсем не метафорических терминах, как мятеж, самозванство, попытка свергнуть законные литературные власти. Истоки такой реакции — ощущение своей кровной связи с литературой, восприятие ее как живого организма, в котором замены невозможны, утраты невосполнимы, по отношению к которому критерий новизны не имеет смысла.

Карамзинизм, перед 1812 годом сдерживаемый не столько сопротивлением литературных противников, сколько общей антифранцузской настроенностью общества, после войны достигает высшей точки своего расцвета и признания. В его активе — слава поэта-партизана Дениса Давыдова и певца 1812 года Жуковского; к 1816 году созданы первые восемь томов «Истории государства Российского» Карамзина; открытие юного Пушкина, сразу же признанного своим в этом кругу, обещает ему богатейшее будущее. Это торжество литературное воспринимается Вяземским на фоне торжества исторического, общенародного, в которое он, участник Бородинской битвы, внес и свой вклад. В 1814 году он пишет А. И. Тургеневу: «День чудес невероятных! Мы в Париже. <...> Шутки в сторону, дела великие и единственные. <...> Я отдал бы десять лет и более своей жизни, отдал бы половину и более достояния моего, чтобы быть 19 марта в Париже. <...> От сего времени жизнь наша будет цепью вялых и холодных дней. Счастливы те, которые жили теперь!» *

Для Вяземского победа над Наполеоном означает вступление России в круг европейских государств и выдвижение ее на важнейшее место среди них; это как бы начало сознательной, общечеловеческой жизни страны. «История» Карамзина воспринимается им как акт самосознания этого словно заново родившегося государства. Ликующее ощущение благодетельного перелома в судьбах России и всей Европы необыкновенно сильно в Вяземском в это время; он распространяет его и на литературу, впервые и уже навсегда связывая ее состояние с состоянием общества в целом. В статье «Письмо с Липецких вод» (1815) он пишет, обращаясь к своим литературным противникам: «Настоящее время было свидетелем разительных побед; политический порядок утвердился на развалинах самовластного неустройства; почему не надеяться нам, что и торжествующий вкус совершит вскоре ваше погребение и, сооружая свой престол на бумажных могилах ваших, не возгласит в услышание и радость вселенныя: Мир усопшим гагарам! Мир усопшим гагарам!» ** Ликование скоро поумерится, политические иллюзии Вяземского полностью рассеются в период его варшавской службы (1818—1821) ***, однако навсегда сохранится оценка наполеоновской эпохи как «важнейшей главы в книге судеб» — эта оценка не умозрительна, она переживается Вяземским как несомненная, живая истина. С этого момента он ощущает себя не только в центре русской литературы, но и в центральной точке русской и мировой истории; это ощущение делает для него необыкновен-

* ОА, т. 1, с. 20—21.

** *Вяземский П. А.* Полн. собр. соч. в 12-ти т. Спб., 1878—1896, т. 1, с. 14 (далее ссылки на это издание даются в тексте; первая цифра обозначает том, вторая — страницу). Вяземский применяет к своим литературным противникам образ из басни Дмитриева «Лебедь и гагары» (1805).

*** Вяземский пишет Н. И. Тургеневу 3 июня 1818 года из Варшавы: «...мы на все смотрим, но ни во что не всматриваемся. Черт знает, чем мы заняты! Нам все как будто недосужно. Поглядишь на нас, подумаешь, что мы думаем думу: ничего не бывало. На нас от рождения нашел убийственный столбняк: ни век Екатерины, со всею уродливостью своею, век, *много обещавший*, ни 1812 год — ничто не могло нас расшевелить. Пошатнуло немного, а тут опять эта проклятая Медузина голова, то есть невежество гражданское и политическое окаменило то, что начинало согреваться чувством (ОА, т. 1, с. 107—108).

по весомыми все детали эпохи, придает ценностное наполнение этому времени.

Вяземский видит в наполеоновской эпохе гигантский перелом, изменение отношений людей между собой и к миру в целом, аналогичное изменению межгосударственных отношений. Все, сближающее людей и государства, объединяющее их действия на пути к общему усовершенствованию, признается Вяземским соответствующим новому духу времени, европейской образованности; всякая изолированность и односторонность противоречат им; так понимает он европеизм в 10—20-е годы, так определяет его и в старости (1876): «Могут быть при разномыслии такие жгучие вопросы, до которых дотрогиваться не должно, даже между приятелями и братьями, равно благовоспитанными и вежливыми. В общей и хорошо сознаваемой образованности есть так много точек сближения и сочувствий, что незачем отыскивать и выводить наружу точек пререканий и преткновений» (2, VIII). Вяземский верит в исторический прогресс, в неуклонное совершенствование человечества; даже в самые тяжелые лично для него периоды, в минуты глубокого душевного упадка он сохраняет оптимистическую концепцию истории. В его статьях «Тариф 1822 года» (1834) и «Несколько слов о народном просвещении в настоящее время» (1855) содержатся восторженные описания успехов промышленности и науки XIX века — «века практического просвещения»; здесь вновь прорываются ликующие ноты, звучавшие в статье 1815 года. Он видит будущее как мир всеобщего благоустройства, взаимосвязи и взаимопонимания объединенных в общую европейскую семью народов; этой цели призвано служить и слово: «*Слово* дано от Бога человеку на благо и с тем, чтобы люди друг друга разумели и вследствие того друг другу сочувствовали и помогали. Слово должно быть орудием мира и братского дружелюбия между народами и между правительствами. Горе тем, которые употребляют этот дар во зло и обращают его в орудие вражды, ненависти, зависти и междоусобий. Мы, славяне, дети слова, расторгнутые ошибкою, чтобы не сказать преступлением истории, все еще родные братья по крови, по слову»,— записывает Вяземский в 1853 году в памятной книжке В. Гаики (10, 68).

Европейская семья народов как идеал, тесный семейный круг литературы как реальность — исключительная ситуация 1812 года позволила Вяземскому сблизить и неразрывно связать эти два представления; его эстетическое чувство не просто соответствует его историческому чувству, а совпадает с ним и почти исчерпывается им. В своих работах он легко и незаметно переходит с языка эстетики на язык политики и обратно; это позволяет воспользоваться для характеристики эстетических взглядов Вяземского обширной выпиской из письма, в котором на первый взгляд об эстетике нет ни слова.

В 1830 году Вяземский пишет А. И. Тургеневу, добивавшемуся пересмотра приговора своему брату-декабристу: «Ты жил между нами; ты нас знаешь и строишь на нас воздушные замки... <...> Можно ли нарядить новый суд для исследования *одного* осуждения? Где набрать

судей? Не прежние ли явятся с новыми предубеждениями, с новым упрямством, ибо тут должно им будет судить и себя, судить свой прежний суд; положим, и не свой, но суд двоюродных братьев, дядей, одним словом, своих. С того времени нет еще у нас нового поколения, новой эры: мы все при тех же и при том же. Как дотронуться до одного осуждения, не расшевелив всех осуждений, не подъяв со дна Сибири всего дела, не повернув мертвых без гробов, не поразив ста семейств, которые вправе были бы требовать: «Пересмотрите дела и наших: наши еще несчастливее!» Верно, и между ними есть невинные, и много таких, которые наказаны не по мере преступления. Ты можешь желать помилования, но и помилование невозможно, ибо оно было бы несправедливостью для других; и если миловать, так миловать скорее из тех, которые наказаны de fait*, которых жизнь — какая-то живая смерть, не политическая, не умозрительная, но положительная смерть, которая родит живую смерть, как у Муравьева, Трубецкого и других, наживших или прижившим детей, для коих нет будущего. <...> Ты говоришь себе: «Был бы он в России, приезжай он в Россию в то время, и он был бы совершенно оправдан». Сбыточное ли это дело? Можно ли минуту сомневаться в неотразимой истине, что он был бы осужден наравне с другими? <...> Да и положим несбыточное: он возвратился, и возвращены ему права его. Какое существование пересоздаст он себе из материалов прошедшего? А материалов этих уничтожить нельзя. Да и прежняя жизнь его, еще не омраченная грянувшею над нею грозою, была ли для него очень сладка? Чем она разразилась? Болезнями, вынудившими его искать другое небо. Теперь приедет он под старое, ждать чего? Новых болезней, чтобы снова иметь потребность ехать отдохнуть. И ты хлопочешь, ты рвешься — из чего? Чтобы кое-как, противоестественно, сколотить ему из обломков новую жизнь на старый лад; жизнь, для него невозможную, которой сто раз предпочтительнее нынешняя смерть; жизнь, лишенную нравственного и физического охранения, одним словом, необходимого благосостояния. И все это почему? Потому, что ты не хочешь видеть непреложность, неотвратимость, неизменяемость в событии, которое облечено сими тремя свойствами. Тебе все кажется, что люди могут переменить то, что совершила судьба, и судьба не случай, mais le destin**, в истинном смысле древнего, в смысле необходимости. Ты хочешь, чтобы душонки и душечки Кушниковские и другие пошли против души России, то есть против того, что составляет ее нравственное бытие; то, чем она именно Россия, а не Англия, не Франция. Переделайся жребий брата твоего, и Россия не была бы Россиею; тут нет увеличения, а строгая истина. Это раскрыло бы в ней новые элементы, которых мы не видим, которые дали бы ей совершенно новый образ» ***.

Прежде всего поражает здесь теснота, заполненность мира, обилие

* Фактически (*франц.*).
** Но участь (*франц.*).
*** ОА, т 3, с. 187—189.

и многообразие связей между людьми — непосредственных и косвенных, центростремительных и центробежных, практических и нравственных,— определяющих то или иное событие в жизни человека и его судьбу в целом*. Далее, по Вяземскому, именно недостаточное осознание детерминированности событий мешает Тургеневу оторваться от прошлого и начать активную, полноценную жизнь в настоящем: «...ты не даешь ему закалить себя в новой стихии его, обжиться в новом мире, потому что он на тебе видит отражение, видит зыблющиеся тени другого мира, от которого, верно, отказался бы он легко один, но который ему еще мерещится в тебе, тобою и твоими усилиями. Твоим спокойствием или, по крайней мере, успокоением еще более усовершенствуется, пополнится, отделится его спокойствие»**.

Прошлое, по Вяземскому, нельзя отменить, пересмотреть, нельзя отстраниться, оторваться от него — его можно только изжить во всей сложной взаимосвязи его элементов; лишь в этом случае оно откроет возможность будущего. Точно так же только вполне определившееся и исчерпавшее свою область эстетическое явление дает толчок для дальнейшего развития искусства, заставляя его двигаться вперед в поисках новых путей. Способность к эстетическому переживанию, по Вяземскому, определяется жизнью человека во времени, между прошлым и будущим; переживание это жизненно необходимо; эстетическое выражение понимается как способ перевода явления из будущего в прошлое, оформления его как элемента сложно детерминированной картины мира. Поэтому когда Вяземский говорит, что русское общество до сих пор не выразилось литературой,— это для него прямая угроза дальнейшему развитию и русского общества и русской литературы. Когда он старается удержать, определить эстетический облик уходящей России — это попытка отделить новое от старого, дать возможность новому самоопределиться, найти, в свою очередь, свой собственный, не подражательный, истинный образ.

Эстетика Вяземского не является частью разработанной философской системы; его представления о сфере эстетического, о роли эстетического переживания в жизни не получают сколько-нибудь отвлеченного теоретического обоснования. Их источник — непосредственное самоощущение поэта, человека, которому область художественного творчества дана не извне, как замкнутый и отделенный от личности исследователя предмет изучения, а изнутри, как мир живого личного опыта, закономерности которого естественно предопределяют особенности видения мира в целом. Поэтому он предпочитает полагаться не на мысль, а на чувство — именно как на более верное средство достижения

* О том, что такое мировосприятие распространяется у Вяземского и на литературный материал, свидетельствует его поздний (1876) рассказ о работе над монографией о Фонвизине (1830): «Тут на опыте убедился я в пользе и правдивости учения, что *все во всем* (*tout est dans tout*). Все в мире, часто незаметно, но более или менее связывается и держится между собою. Ни в физическом, ни в нравственно-человеческом мироздании нет пустых мест. Все последовательно и соответственно занято. Нередко одно слово, одно имя, одно малейшее событие может вас увлечь в разнообразные и далекие изыскания» *(1, L)*.

** ОА, т. 3, с. 190.

истины. «...образ мыслей в человеке должен более или менее зависеть от событий и положения, которое он занимает: один образ чувств должен быть неизменен и независим. Чувства истины положительны и непреложны; мнения истины прикладны» (1827; 2, 7). Вяземский сравнивает себя с зеркалом, с термометром, отмечающим изменения состояния общественной атмосферы; всякое предварительное знание представляется ему помехой, искажающей показания этого чуткого душевного прибора. Вяземский получил прекрасное образование и продолжал учиться всю жизнь; воспитанный на французской литературе и философии XVIII века, он до старости сохранил культ разума*; однако в своей литературно-критической деятельности он по мере сил стремится избежать вторжения теории в его отношения с предметом исследования, и слово «система» воспринимается им как синоним слова «предубеждение». Всю жизнь он относился с неизменной подозрительностью к литературным критериям, предлагаемым теми, «которые только законодательствуют, а творить ничего не умеют» (1, 151); между тем он восхищается критическими замечаниями Наполеона на Цезаря и Вергилия: «Если Наполеон был мастер работать для истории, то здесь является он и мастером в разрабатывании истории. <...> Помышлял ли бедный Виргилий, что он подпадет под стратегическую критику полководца новейших времен, который говорит, что «деревянный конь мог быть народным преданием, но что сие предание нелепо и недостойно поэмы эпической, что ничего подобного этому нет в «Илиаде», где все сообразно с истиною и действиями военными». <...> Что тут и возражать! Наполеон умел брать города: ему и книги в руки и Виргилиева книга также!» (1836; 2, 237—238). Способность к эстетическому суждению, по Вяземскому, определяется способностью к творчеству в любой области практической деятельности; он пишет о чисто специальных замечаниях Наполеона на книгу Цезаря: «Тут мастер говорит о своем мастерстве: следовательно, каждое слово важно для художества и художников» (2, 230).

* * *

«Литература должна быть выражением характера и мнений народа: судя по книгам, которые у нас печатаются, можно заключить, что у нас или нет литературы, или нет ни мнений, ни характера; но последнего предположения и допустить нельзя. Утверждать, что у нас не пишут оттого, что не читают, значит утверждать, что немой не говорит оттого, что его не слушают. Развяжите язык немого, и он будет иметь слушателей. Дайте нам авторов; пробудите благородную деятельность в людях мыслящих — и читатели родятся. Они готовы; многие из них и вслушиваются, но ничего от нас дослышаться не могут и обращаются

* На экземпляре сочинений Белинского, против слов его о Борисе Годунове: «Он был только умнее своего времени, но не выше его», Вяземский приписывает: «Как же не *выше, если умнее?*» (ГБЛ, ф. 63, к. 1, № 3, с. 631).

поневоле к тем, кои не лепечут, а говорят» (1, 103),— пишет Вяземский в 1823 году; это мнение высказывается им неоднократно в течение всех 20-х годов. Он утверждает, что русские читатели не читают русскую литературу, и причину этого видит в том, что «большая часть литераторов наших отстала не только от европейских собратий своих, но даже и от многих соотечественных читателей. Мы удивляемся, что нас мало читают Но кому же нас читать? Наши необразованные люди не любят чтения, а иначе они были бы образованными: образованным у нас читать почти нечего. Мы для одних не пишем, и пишем не для других» (2, 10—11). Вяземский отказывается признать, что русское общество недостаточно подготовлено для понимания своей литературы: «Писатели наши, за исключением весьма, весьма немногих, *не выше народа своего*.. У нас есть государственные правители, полководцы, негоцианты, художники, а нет ни по одной из частей их сочинения полного, руководства надежного; следовательно, не народ в долгу у писателей, но писатели у народа» (1827; 2, 15). Связь между литературой и обществом понимается как однонаправленная: «Один хороший автор рождает сотни читателей; но целый народ читателей не произведет ни единого, даже посредственного автора» (1823; 1, 101—102). Следовательно, степень развития литературы, по Вяземскому, вовсе не обусловливается степенью развития общества и не обязательно соответствует ему: литература лишь условный эквивалент общества, а не неизбежное порождение его. Представление Вяземского о нормально развитой литературе не исходит из потребностей определенного народа, со своей спецификой развития; в основе его лежит общеевропейский опыт: «Какое может быть на народ влияние литературы, ие имеющей эпопеи, театра, романов, философов, публицистов, моралистов, историков?» (1830; наст. изд., с. 190). Тезис «литература должна быть выражением общества» носит у Вяземского чисто императивный характер. Русскую литературу он видит как бы извне, с точки зрения человека, которому доступно все богатство европейской культуры; ему нет необходимости отыскивать на русской почве явления, которые можно с некоторыми натяжками и скидками приiять за эквивалент полноценно развитой литературы. Перечисленные им выше жанры знакомы ему в высочайших образцах, и он вовсе не склонен довольствоваться их подделками. Отсутствие жесткой связи между обществом и его литературой обусловливает возможность свободы литературного выбора и суждения, становится источником максималистских требований к литературе: «Чтение не есть потребность необходимая; оно роскошь, оно лакомство! Хотя бы и не было никаких книг, кроме вашей *доморощенной*, то все не читали бы вас, милостивые государи! Пишите по-европейски, и тогда соперничество европейское не будет вам опасно и читатели европейские присвоят вас себе» *

Вяземский называет чтение лакомством; варьируя эту же метафору, он говорит уже о «продовольствии русских сочинений» Два этих образа

* «Новости литературы», 1824, кн. 8, № 13, с 12

очерчивают два реальных, взаимодополняющих аспекта проблемы; по Вяземскому, литература «для народа то, что дар слова для человека... то, чем он человек, то есть существо мыслящее и чувствующее. Человек без сего способа выражать себя и народ, не имеющий сей литературы, существа неполные, не достигающие цели бытия своего» (1830; наст. изд., с. 188). Потребность самовыражения — это нужда и необходимость; именно поэтому эту потребность невозможно заключить в узкие рамки. Она все равно разрушит их, найдет не навязываемые, а действительно необходимые ей, пусть искаженные и неполноценные, формы выявления. И в 20-е, и в 50-е годы Вяземский одинаково видит соотношение литературы и общества, одинаково оценивает силу стремления общества к самовыражению; в 20-е годы эта сила представляется ему созидательной, ее он берет в союзники в борьбе за качество русской литературы; в 50-е же годы, руководя цензурой, он вынужден рассматривать эту силу как разрушительную, угрожающую устоям общества, однако и здесь он опирается на нее, настаивая на пересмотре цензурного устава и прекращении произвола цензоров: «...должно положительно определить и обозначить ту долю благоразумной и законной свободы, которую правительство полагает возможным предоставить науке и литературе. Иначе следует решительно поставить такие преграды, за которые не могла бы литература вступать в область мышления, любознательности, общественных интересов и, одним словом, всего, чем ныне занимается и живет общество. Подобное запрещение возможно; но, не входя в суждение о такой мере, можно спросить, не повлечет ли она за собою вред, гораздо опаснейший того вреда, которого опасаются от частных покушений литературы и от снисхождения и оплошности цензоров. Умам дала движение не литература наша: напротив, в литературе слабо и поверхностно отзывается движение умов, пробужденных событиями, духом времени, победами науки и усиленною деятельностью нашей эпохи. Вопросы, вытесненные из печатной литературы, которая, несмотря на своевременные уклонения, невольно держится в берегах, определенных ей цензурным уставом, эти вопросы свободным разливом вторгнутся в рукописную литературу и в контрабандную литературу заграничных русских печатных станков. Никакие предохранительные и стеснительные меры полиции не будут в силах бороться с этим беспрестанно возрастающим и напирающим злом. Она проникнет к нам, разольется у нас в тысяче видах. Русская литература перенесется за границу и, совершенно отрешенная не только от надзора, но и от влияния правительства, отрешится от собственного надзора за собою и бросится в крайности. Мы видим тому поучительный и несчастный пример в Герцене» (1856; 7, 46—47; исправлено по рукописи).

Специфическая трактовка Вяземским соотношения литературы и общества определяет то огромное значение, которое он придает активной роли писателя: поскольку жесткой связи между обществом и литературой нет, ее порождающим началом оказывается только авторская личность. Романтическая концепция гения присутствует у Вяземского в

очень умеренном, ограниченном варианте: гений вносит в развитие литературы момент свободы и неопределенности; Вяземский часто уклоняется от окончательной оценки какой-либо литературной тенденции, мотивируя это возможностью появления гения, который даст этой тенденции непредсказуемое наполнение. В целом же Вяземский предпочитает иное понятие — писателя, живущего в обществе и интересами общества; таким образом, через писателя восстанавливается разрушенная было связь между литературой и обществом в его концепции. Свой идеал писателя Вяземский демонстрирует на примере барона Гумбольдта — светского человека и ученого, соединяющего высокий профессионализм с широкими, энциклопедическими познаниями, интересующегося всем, что только может интересовать человеческий ум, способного вести беседу как о науке, философии, литературе, так и о мелочах быта парижских гостиных (1830; см.: 2, 112),— очевидно, что этот идеал соответствует духу европейского просвещения. В конце 20-х годов Вяземский разделяет мнение Баратынского и И. Киреевского о том, что поэты должны учить публику, создавать для нее язык, форму самовыражения; однако он не спешит приподнимать писателя над общим уровнем — для его понимания европеизма существеннее то, что писатель органически вписывается в общество.

* * *

Образцом литературного произведения, выражающего общество, залогом того, что такая литература возможна в России, для Вяземского стала «История государства Российского» Карамзина. «Творение Карамзина есть единственная у нас книга, истинно государственная, народная и монархическая. Не говорю о литературном или художественном достоинстве ее, ибо в этом отношении может быть различие в мнениях, но в другом оно быть не может, ибо повторяю вместе с вами, вместе со всеми, вместе с очевидностью: она одна» (2, 215),— пишет Вяземский в «Проекте письма к министру народного просвещения графу С. С. Уварову» (1836). Он видит книгу любого содержания прежде всего как художественное создание (см. наст. изд., с. 174); так воспринимается им и «История» Карамзина*. Это полноценное выражение «России, каковою сделало ее Провидение, столетия, люди, события и система правления» (2, 217); такая книга, воплощающая целый общественный уклад, приобретает объективность и сущностный вес дела, а не слова — и требует ответа делом: «И самое 14 декабря не было ли впоследствии времени, так сказать, критика вооруженною рукою на мнение, исповедуемое Карамзиным, то есть «Историею государства Российского», хотя, конечно, участвующие в нем тогда не думали ни о Карамзине, ни о труде

* «Неужели в самом деле учение истории может быть полезно, как предосторожность? Неужели мы проведем завтрашний день благоразумнее, если узнаем, что сегодня делалось во всех домах Петерб[урга]? История не полезнее другого: она потребность для образованного человека, в котором родились нравственные, умственные нужды, требования. Как мне потребно будет слышать Зонтаг, когда она сюда приедет. Я от того не буду ни умнее, ни добрее, ни даже музыкальнее, а не менее не слышать ее было бы живое неудовольствие» (1830, *Вяземский П. А.* Записные книжки (1813—1848). М., 1963, с. 172).

его» (2, 218). Для Вяземского заведомо неприемлема не только любая односторонняя — научная или стилистическая — критика «Истории», но и вообще критика, не сопровождаемая созиданием; для него важна не столько научная ценность этой книги, сколько ее основополагающая роль: «Наука наукою, но есть истины, или священные условия, которые выше науки. <...> Каждому народу нужно иметь свою писаную историю и свое писаное законодательство. Будь и то и другое несовершенно, все равно: пока нет лучшего, не нарушайте уважения к тому, что есть» (2, 219—220). На книгу Карамзина, по мнению Вяземского, можно было бы возразить не критикой, а только созданием другой книги, способной заменить первую. Такую книгу не может создать любой человек и в любое время: в статье «Отметки при чтении исторического похвального слова Екатерине II, написанного Карамзиным» (1873—1874) Вяземский характеризует Карамзина как воспитанника екатерининской эпохи, завершившей реформы Петра; он не только преобразовал язык, но и «навеял новый дух на литературу нашу»: «С ним литература сделалась живою частью общества, членом общей народной семьи» (наст. изд., с. 300). Историка порождают сами исторические обстоятельства*; он выразитель целостного самосознания общества в тот момент, когда это самосознание определилось и потребовало выражения; миссия Карамзина, по Вяземскому, сопоставима с миссией Кутузова в момент общенационального подъема 1812 года**. Исторические сочинения иного типа, проникнутые духом партии, той или иной философской или политической системы, Вяземский называет «красноречивыми адвокатскими записками в пользу одного или другого решения политической задачи»: «Этот способ может быть еще употребляем в историческом изложении известной и определенной эпохи. <...> Но в истории России, и особенно же в труде Карамзина, который должен был начать с того, чтобы из-под праха отыскать и восстановить события, всякая натяжка, всякое заданное себе наперед направление лишили бы его возможности представить полную картину того, что было и как было» (наст. изд., с. 318).

Таким образом, труд Карамзина оценивается Вяземским как идеал общенационального дела, в противоположность разъединяющему духу партий и направлений. По-видимому, следует с полной серьезностью отнестись к мнению Вяземского, что Карамзин «может быть у нас средоточием, около коего должно обвести круг нашего просвещения и всех шагов наших на поприще образованности. Все лучи можно откидывать от него и прикидывать к нему, ибо нет сомнения, что он был истинный и единственно полный представитель нашего просвещения»***

* В 1825 году, приводя слова Прадта, что только г-жа де Сталь могла бы написать историю Наполеона, Вяземский возражает лишь в одном: «...в таком случае г-же Сталь надлежало б быть русскою» — и обосновывает свое мнение, говоря об особом характере войны русского народа против Наполеона (см. наст. изд., с. 55).

** «Карамзин — наш Кутузов Двенадцатого года: он спас Россию от нашествия забвения, воззвал ее к жизни, показал нам, что у нас отечество есть, как многие узнали о том в Двенадцатом годе» (ОА, т. 3, с. 356).

*** Переписка А. И. Тургенева с князем П. А. Вяземским. Т. 1. Пг., 1921, с. 54. Л. Я. Гинзбург считает, что для Вяземского «Карамзин оказывается флагом, выбрасываемым во